

ЛЯМАН БАГИРОВА

Н О В Е Л Л Ы

Цикорий

А. и Н. Касимовым посвящается...

*Цикорий делает сознание четким,
так что человек говорит и думает логично,
без всяких непоследовательностей.*

Из энциклопедии

В Федоровском детдоме Кустанайской области Казахской ССР имеют место массовые побеги детей репрессированных родителей. Дети не занимаются, так как их избивают школьники-хулиганы. Наблюдаются массовые дебоши. В столовой детдома на 212 детей имеется всего 12 ложек и 20 тарелок. В спальне — один матрац на три человека. Дети спят в одежде и обуви.

(Из приказа НКВД СССР № 00309 от 20.05.1938 «Об устранении извращений в содержании детей репрессированных родителей в детских домах»).

«Как сказала, так и будет, и другого не дано!» Больше сорока лет этот диктаторский девиз был нормой жизни Софьи Михайловны. Годы выкристаллизовали властность и отчеканили ее в жестких чертах смуглого лица, в блеклых карих, но бурлящих собеседника глазах, в складках небольшого рта с пухлой нижней и узкой верхней губой. Софья Михайловна была учительницей истории и завучем в местной школе, вдовой, матерью трех сыновей, свекровью трех невесток, бабушкой семи внуков и Большой хозяйкой Большой семьи.

Музой истории, как известно, является Клио – видимо, самая покорная и сговорчивая из сестер-муз. Во всяком случае, за время рабочей практики Софьи Михайловны свиток Клио переписывался, а подчас и перелицовывался не раз. И каждая последующая версия свитка называлась соответственно: «Новая», «Новейшая» и даже «Древняя»... И всякий раз Софья Михайловна терпеливо и усердно штудировала страницы новых учебников, поражаясь покладистости музы истории.

Софья Михайловна никогда не отдыхала. На отдых у нее просто не было времени. Многолетняя привычка завуча все держать под контролем сделала ее негибкой. Сыновья называли ее Гауляйтером, невестки – царевной Софьей, внуки и ученики – Софушкой и Фрекен Бок. Коллеги и того похуже – Фюрером и Львихой. Софья Михайловна не обижалась, порог обиды она давно уже переступила. Она знала, что имя ее означало – «мудрость» и давно уже мудро решила про себя: «С лю-

бовью обойдусь, пусть лучше слушаются». Слушались, надо сказать, со скрипом: любое действие порождает противодействие, – но так же со скрипом признавали со временем: Львиха была права. Она олицетворяла собой порядок, а порядок подразумевает незыблемость и надежность. И действительно, было жестко, но надежно. Как простая, без гурманских причуд, но сытная и не требующая особых хлопот еда.

А еще Софья Михайловна совсем забыла, что когда-то очень-очень давно ее звали Софиат, и отца ее звали Микаилом, и была она смешливой девчушкой с румянцем на смуглых щеках и копной кудрявых черных волос. И звали ее ласково – маленькая Всадница, потому что точь-в-точь она была похожа на задорную девочку с картины Брюллова «Всадница». И жили они далеко-далеко на юге, в степных краях, где отец работал коневодом, где небо похоже на огромную перевернутую синюю тарелку, а степь – на волшебный ковер.

И не вспоминала Софья Михайловна, как ее мать, молодая красавица Сария, плела венки из голубых цветков цикория и, смеясь, надевала его на голову дочери. И приговаривала: «Терпи казак – атаманом будешь! Стебли у цикория жесткие, зато сломать трудно, и цветы долго не вянут». А потом легко шлепала по худенькой заднице и Софиат бежала, раскинув руки по огромному, волшебному, ковровому счастью.

Больше всего Софья Михайловна любила рождение утра, минуту, когда рассвет прорезал тьму и являлся словно ниоткуда, и вселенская тревожная ночь отступала. Закрывалась дверь в далекий, погибший мир, где было много солнца, и ветер играл гривами лошадей. С первым лучом света Софья Михайловна вздыхала облегченно. Утро – это всегда обещание нового дня, залог установленного раз и навсегда порядка. В утре было легко; ночь скреблась тигрицей, кровавила сердце и одолевала тоской по чему-то, что хотелось забыть, что приносило боль.

В детдоме для детей врагов Родины Софья Михайловна запомнила куски серого, плохо пахнущего мыла, машинку для стрижки волос, после которой она перестала быть похожа на девочку-Всадницу, один матрас на три человека и толстую тетку в белом халате. У тетки были колючие красные глаза, и она все время бегала и кричала: «У меня 20 тарелок и 12 ложек на 200 человек! Что мне делать?! Говорила я, кто меня слушает?!»

А еще помнила Софья Михайловна, как впервые за много месяцев заплакала, когда нянечка со смешным именем «тетя Груша» погладила ее по стриженной голове, перекрестила и сказала шепотом: «Ничего, Сонюшка, Бог даст, ты жива будешь. Живи, Сонюшка»...

И Сонюшка выжила. И стала Софьей. А потом уважаемой Софьей Михайловной. И давно знала, что родителей ее расстреляли, а родственники от нее отказались. Почему? Она не спрашивала себя об этом. Многих расстреливали и от многих отказывались. А еще она знала, что ей непременно надо жить. И любить эту землю, которая была ее Родиной, потому что другой она не знала. Да и не было дано другой. И Сонюшка любила и трудилась для нее. И привыкла к этому. И годы были милостивы к ней, она не превратилась в обрюзгшую старуху, лишь чеканились, застывая, черты лица, да царственной оставалась осанка. Стареющая Львиха. Да – стареющая, но ведь это только причастие, а главное-то – существительное: Львиха! И она любит жизнь, и крепко держит на ней свою маленькую твердую лапу. И – уж будьте покойны! – пока эта лапа есть, можно не волноваться – все будет идти своим чередом, не нарушая порядка.

Вот только к цветам была равнодушна Софья Михайловна... А их дарили ей часто – бархатные дорожные розы, пышные георгины, белоснежные лилии, разноцветные гладиолусы и какие-то замысловатые букеты, где бумаги и ленточек было больше, чем цветов. И все цветы были помпезными, будто гордились собой и важничали неизвестно почему.

А она отдавала их коллегам, дарила невесткам, нисколько не жалея, не глядя даже на их красоту. И глаза ее оставались сдержанно-приветливыми, не более.

Поэтому все удивились и даже не поняли, отчего Львиха вдруг сильно закусила губы и изменилась в лице, когда однажды пятиклассник Рома Павлов протянул ей большой букет ярко-голубых цветов с жесткими стеблями.

– Это цикорий, – серьезно провозгласил он. – Очень полезный цветок. Из него делают кофе и еще жарят и тушат. Он от многих болезней помогает. И еще он очень красивый.

– И стойкий, – улыбнулась Софья Михайловна. – Ты где такую копну собрал, Рома? Наверно, руки измочалил?

– Ничего не измочалил, – буркнул Рома. – А его вон там, на пустыре, полно. Бабушка говорит: этот цветок – утешение. Когда даже трава не растет, он пробивается.

– Измочалил все-таки. Давай сюда ладони. Ну давай же, я, как классный руководитель, за тебя отвечаю! – Львиха низко наклонила голову и принялась протирать поцарапанные мальчишеские ладони. – Цикорий я знаю, Рома, – тихо сказала она. – Действительно очень полезный цветок. Спасибо тебе.

В течение нескольких следующих дней домохозяева сильно удивлялись. Львиха таскала охапки синих цветов, устала ими все вазы, банки и тазы в доме, а в один из воскресных дней собрала сыновей с семьями и объявила:

– Сажаем на даче цикорий. Запаслась семенами и корневыми отводками. Выезжаем через час!

Спорить было невозможно, но один из сыновей попробовал сыронизировать:

– А, что, мама, налаживаем частное производство поддельного кофе?

Львиха приподняла бровь, что являлось признаком сильного гнева, но спокойно отчеканила:

– У этого растения масса полезных свойств. Противовоспалительное, желчегонное, успокаивающее. Кроме того, просто красивое и неприхотливое. А еще его в народе называют «Петров батог». По легенде, апостол Петр использовал его как хвостину для своих овец.

– Мама! – не выдержала старшая невестка. – Скажите попросту: «Я так хочу! Как сказала, так и будет, и другого не дано!» Все поймут. И про овец тоже все поняли!

– Да, я так хочу. Я прошу вас, – вдруг сорвалось с губ Львихи. – Пожалуйста.

Домашние переглянулись. Мать стояла перед ними величественная и изо всех сил прижимала к себе пакет с черенками, будто боялась, что его у нее отберут.

Через два часа семья во главе с Софьей Михайловной – все потные, грязные – лазали по земле и рассаживали отводки жестких стеблей. Потом, уже накупанные, пили чай с медом и творожным пирогом, и Львиха сидела в своем кресле во главе стола, и взгляд ее по-прежнему был пронзителен и тверд.

А еще через год большой участок дачи напоминал ярко-синее море. И – странное дело – в первый раз после того, как зацвел цикорий, Софья Михайловна перестала бояться ночи. И рассвет, прорезающий тьму, стал просто вестником утра, а не единственным спасением от тигрицы по имени Память.

И еще о любви

Любовь долготерпит, милосердствует, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.

Апостол Павел

Незабвенный Юрий Олеша говорил, что «времена волшебников прошли. А может, их никогда и не было». Скорее всего, он был прав. И все же, о волшебниках не скажу точно, а вот что чудеса случаются, и в особенности тогда, когда хочется в них верить – заявляю авторитетно!

Только не будет моя история нежна и трепетна, как светлый рассказ «Дары волхвов». Кудесник О.Генри описал в нем молодую пару, отдавшую друг другу самое дорогое, что у них было. Но у них осталось нечто большее – их молодость, когда трудности не переступаются, а перепрыгиваются. Возможно, потому, что их просто не замечают, или кости еще гибки...О молодом счастье рассказывать – одно удовольствие, само перо устремляется в ликующий полет!

Нет, я и сейчас поведаю о пожилой паре. И вовсе не потому, что старики мне ближе. Скорее, напротив. Но уже давно я наблюдаю одну странную штуку. Пространство и время – две физические величины – рассматриваются в природе всегда в непрерывной связи. В жизни же они работают, в основном, противоположно. Пространства и расстояния иной раз скрепляют людей больше, чем близость, возможно, потому, что физическая удаленность нивелирует работу времени. И мелкие раздражения, неизбежные при долгом, тесном общении, совместном проживании и возрастных изменениях, растворяются пространством. Через «версты и мили» все кажется милым, тихим и теплым, потому что этого требует наша душа, истосковавшаяся по родности.

Но тем интереснее и драгоценнее люди, не преодолевшие временные рубежи (увы, это не дано никому), но научившиеся жить со временем в ладу. На это нужно немало мудрости, и еще больше – мужества. Зато и награда сторицей – достоинство и элегантность, а не зыбкая молоджавость.

Мои герои подарили друг другу в канун Рождества и Нового года самый главный рождественский дар – любовь. Именно Любовь была первым даром божественному младенцу. Золото, ладан и смирна были лишь дополнением к ней.

Когда молодой Руслан привез к себе на родину из Могилева тоненькую большеглазую сироту Таю и заявил ошарашенной родне: «Женюсь!», поднялся неистовый змеиный шип. Увещевания самого Руслана не привели ни к чему. Парень, что называется, запихнул обе ноги в один башмак – «Только Тая, и больше никто!» На парня махнули рукой – все же фронтовик, да к тому же после контузии. Начались паломничества к его матери. «Уговори, вразуми, наставь! Ты же мать!!! Единственный ребенок у тебя! Не пара она нашему мальчику! Да еще на глазах всю родню расстреляли! Не приведи Бог такой напасти. Неизвестно еще, как это на ней сказало!».

Бесполезно... Свадьба состоялась, и на ней, как водится, осыпали молодых конфетами с пожеланиями сладкой и долгой жизни. Все обычаи были соблюдены, чтоб перед людьми не было стыдно...

На третий день после свадьбы свекровь отозвала Таю в сторонку:

– Сядь-ка, поговорим! – Тая послушно присела на край стула. За время предсвадебного противостояния она похудела еще больше. На белом, без кровинки, лице жили только огромные синие глаза.

– Скажу тебе честно, – свекровь мяла в руках праздничную крепдешиновую косынку. – Я не хотела тебя в невестки. Не о такой судьбе я мечтала для сына.

Заметила, как по горлу Таи прошел судорожный вздох, прибавила чуть мягче:

– Но раз смогла стать женой, – видно, чему быть, того не миновать, – постарайся стать своей для рода, влиться в семью. У нас девушка не за парня выходит, а за его маму, папу, бабушек-дедушек, братьев-сестер. Всех надо приветить, для всех ласковое слово найти. Такое у нас не в чести, чтобы молодые только в своем углу сидели и своей жизнью жили. Не обижайся, ты мне ничего плохого не сделала, и я тебе тоже. Но я правду говорю, как есть. Трудно поначалу будет. Да не дрожи так! Я не зверь. У тебя нет никого, у меня тоже. Будешь ко мне с уважением, я тебя не обижу и всему, что знаю, научу. И другим в обиду не дам. А разводов в нашем роду отродясь не было. Из того дома, куда невестой пришла, и гроб твой должны вынести. Запомни! Будешь ссориться, скандалить, сыну моему нервы трепать – проклянц!

Тая всхлипнула.

– Плакать, дочка, не надо. Твое место уже крепко. Родишь – вообще нерушимо будет. Невест бывает много, а жена – есть жена. Главное, знай – мужчине, даже самому хорошему, верить нельзя, а плохой – он и так плохой. Любовь у них сегодня есть, завтра – нет, а у тебя дело свое – семью строить, дом водить. Из семьи мужчины наши не уходят. Вытри слезы.

Тая послушалась. И стала такой, как говорила свекровь. Слово ласточка, приутилась на стене неведомой жизни и – веточка к веточке, год к году свила свое гнездо, – терпеливая умница. Через пять лет в родне говорили, что Руслан и старая Салтанат не девку, а золото взяли, даром, что «не наша». Через десять лет в открытую завидовали свекрови, цедя сквозь зубы, что Бог дает милости редко, но уж если дает, то полными горстями. А Тая стряпала, растила сына и дочку, ухаживала за недвижной Салтанат и знала, что в одном-то уж свекровь точно ошиблась: они с Русланом любят друг друга так же, как и много лет назад, хотя время изменило их нещадно.

Спустя 29 лет, в 15-й день веселого месяца мая, Салтанат позвала к себе Таю:

– Пора мне.

Тая запротестовала.

– Не перечь, я знаю. Дай воды.

Тая подала стакан воды.

– Благослови тебя Бог, дочка. Береги детей, и мальчика моего тебе поручаю. Трое детей у тебя... – последние слова она выдохнула неожиданно молодым певучим голосом.

Свекровь была идеальной кавказской старухой – сухой, немногословной, в низко повязанном черном платке. Для нее сын и в 56 лет был мальчиком.

Руслан много и часто болел. Тая шутя говорила, что жизнь у нее – как расписание поездов: от станции «Школа», где она преподавала домоводство, до станции «Кухня», где она ранним утром разгружала принесенную Русланом провизию, а потом до станции «Тумбочка с лекарствами», дальше по графику – «Школьные уроки», «Ро-

дательские собрания», «Уборка дома», «Прием гостей». Дни сначала летели быстрее гонца, потом стремительнее молнии, и зеленые волны Каспийского моря несчетное количество раз ударялись в длинные песчаные берега. Тае было некогда думать о его красоте и величии. И без того известно, что другого моря в ее жизни не будет, а значит, оно – самое лучшее. Самое теплое и красивое.

Сорок четыре года – как единый вздох. Сын, дочь, зять, невестка – четверо детей. Четверо внуков. Три небольшие комнаты с застекленным балконом. Кошка с тремя котятками. «На все стороны света, – шутила Тая. – Теперь только жить и радоваться!» Руслан молча улыбался. Тая любила его сдержанную улыбку – краешком губ.

Четыре стороны света – крест.

– Ну, вы понимаете, что такое изношенное сердце. Три инфаркта – не шутка. Сердце у него – как вялая тряпка. Ну и, конечно, выход на пенсию деятельные люди переживают тяжело. Это еще благодаря вашему уходу, диете и лекарствам он прожил так долго. В общем, будьте готовы ко всему...

Врач постукивал ручкой по рецептурному бланку. Тая задумчиво посмотрела в окно. Это должно было случиться. Жаль, что именно сейчас, в конце декабря, когда вовсю идет предпраздничная суета. Не январь, а именно декабрь наполнен ощущением чуда, приятными хлопотами, радостной беготней за подарками, теплыми запахами ванили, корицы и яблок. Хорошо, когда в такие дни медленно перепархивает снег, и деревья уютно дремлют под белыми шубами – картина зимней сказки готова! Но, увы, с Природой не поспоришь. Уж если не посылает снега, то изволь мириться с мягким серым деньком, влажным асфальтом и голыми ветками.

– Ничего не случится, доктор! – она решительно встала. – До свидания.

Врач посмотрел ей вслед. «У пожилых свои причуды», – равнодушно подумал он. Это был хороший старый врач, и все долгие годы практики ему гораздо легче было читать графики кардиограмм, чем художественную литературу.

Когда она вошла в дом, муж выжидательно посмотрел на нее.

– Жить будешь, – бодро сказала она. – Выпей свою таблетку, сейчас обедать будем. – Затем вошла в спальню, не зажигая света, нащупала в глубине платяного шкафа какую-то коробочку, высыпала содержимое в стакан с водой и выпила залпом.

Обед был диетическим, но вкусным. Тая, отменная кулинарка, давно освоила национальную кухню, но готовила для мужа только особые блюда – паровые куриные котлеты, отварной картофель, нежирный бульон и компоты из боярышника и вишни. Жареное и жирное подавалось к столу только на званых обедах.

– Я отдохну немного, что-то много я съел, – Руслан прилег на диван, – если задремлю, укрой чем-нибудь.

– Конечно, – Тая посмотрела на часы. – Ты отдыхай, я посуду помою.

Сквозь сон Руслан услышал сдавленные стоны. Быстро встал, вышел на кухню. Тая корчилась на диванчике.

– Что с тобой? – испугался старик.

– Не знаю, – сдавленно промычала Тая. – Что-то вертит, и режет, и крутит. Живот ходуном ходит. Плохо мне!

– Что ты съела? – растерялся Руслан. – Такого от еды никогда не было. Может, простудилась? Ай, жена, да что же такое?!

– Ой, не знаю. Ой-й-й-й!!! Помоги до туалета дойти!

Руслан бросился к ней. Кряхтя и охая, она добрела до туалета. Таю скрутил сильнейший приступ рвоты.

– Я скорую сейчас вызову. Детей! – Руслан и в молодости не проявлял такой активности, как сейчас. Глаза его заблестели, и даже спина немного распрямилась.

– Не надо скорую. Не надо, говорю! – В лице Таи не было ни кровинки, по вискам струился пот.

– Как не надо?!!

Руслан, кажется, забыл, что за два часа до этой минуты был седым согбенным старцем со взором потухшим и дрожащими ногами. Сейчас даже щеки его порозовели.

– На тебе лица нет, Таечка!

«Таечка», – мысленно отметила для себя жена.

Так задушевно и, будто стесняясь, Руслан называл ее только когда они оставались наедине. Никогда на людях – неприлично.

– Нет! Уложи меня на диван, сейчас пройдет!

– А если это аппендицит?

– Очнулся?! Аппендицит мне давно вырезали!

– Ты как хочешь, а я детям позвоню! Если с тобой что-то случится, что я буду делать?..

Через полчаса в комнату вбежали перепуганные дочь с сыном. Тая по-прежнему была бледна, как смерть, живот был тверд, как железо, но позывов на рвоту уже не было.

– Нет, вы только посмотрите на свою мать! – расправив плечи, старик широкими шагами мерял пространство из угла в угол. – Чуть не умирает, не дай Бог, а упрямство, видно, вперед нее родилось! Скорую не разрешает звать. Где такое видано?!

– Мама, это не шутки! – дети решительно склонились над ней.

– Молодец мой старик, – услышали они еле слышный шепот. – Того и гляди, еще и по столу кулаком хватит! Поскрипим еще!

– Мама?

Тая чуть заметно улыбалась. Заметив, что Руслан приближается к дивану, проstonала:

– Кажется, отпускает. Наверно, я все же простыла. Там, на кровати, шаль, принеси мне ее, пожалуйста.

Когда Руслан вышел, она тихо сказала:

– Ваша бабушка говорила, что женщину всегда хоронят чуть глубже, чем мужчину, потому что она хитрее мужчины, и даже под землей может что-то придумать и воскреснуть!

– Мама! Ты это все специально?

– Ну, а как вы думали? Надо же было вашего отца встряхнуть. Он меня потеть боится так же, как я его. Поскрипим еще!

– Мама, что ты сделала? – дочь бессильно всплеснула руками.

– Ничего страшного. Старая добрая английская соль. Немножко встряхнула кишки и все. Я так в детстве вас лечила от запоров и глистов... Т-с-с! Отец идет.

– Возьми! Подожди, я сам тебя укрою. Как тебе? – Руслан суетился возле своей Таечки, как мать возле младенца.

– Ой, лучше, гораздо лучше, только слабость. Сейчас пройдет. Ах! – Тая при-

крыла в изнеможении глаза.

– Вы идите на кухню, чайник подогрейте, поешьте, что хотите, – Руслан махнул рукой детям. – Я с ней посижу.

– Папа, а ты сам как сейчас? – сын был серьезен.

– Нормально. Вначале, когда ее схватило, испугался, а сейчас вроде ничего.

– Муж да жена – одна сатана! – сказал на кухне брат сестре. – Уникальные у нас предки, ничего не скажешь!

Дочь промолчала, улыбнулась. За окнами впервые с начала декабря закружились мягкие белые хлопья. В сиреновом свете ранних сумерек они напоминали расстрепанных балерин. Некоторые из них долетали до окон и таяли на теплых стеклах, оставляя прозрачные светлые полосы. Кошка с котятами, изрядно переволновавшиеся за последние часы, опять запрыгнули на кухонный диванчик и уснули. Спали они крепко, изредка вздрагивая лапами. Очевидно, им снились их рождественские дары – мясо, рыба и молоко. Но, конечно, они никому не рассказали о своих снах, когда проснулись. Ведь совершенно точно известно, что никому нельзя рассказывать хорошие сны, а то можно спугнуть удачу.

P.S. Руслан и Тая прожили еще двенадцать лет и четыре месяца, успели понынчить пятого внука и умерли во сне с разницей в один день. Вначале – Тая, затем Руслан бросился догонять свою половинку. Случилось это в апреле, когда всюду цвели алычовые деревья, и асфальт был белым от лепестков. Но в день прощания вдруг пошел мокрый снег. Мягкие хлопья напоминали расстрепанных балерин, а некоторые из них долетали до окон и сразу таяли на теплых стеклах, оставляя прозрачные светлые полосы.

Вы скажете, такого не бывает?.. Бывает, уверяю вас! В жизни бывает все, и всегда находится лазейка для чуда.

Вертоград

(из цикла «Друзья мои»)

*А вы, друзья! Осталось вас немного, –
Мне оттого вы с каждым днем милей...
Какой короткой сделалась дорога,
Которая казалась всех длинней.*

А.Ахматова

Как знать, может быть, в чудачестве больше мудрости и душевной щедрости, чем в благоразумии? В обычной жизни людей с намертво прилипшими к ним ярлыками немало. Кого-то называют добрым, а вся его «доброта» заключается в том, чтобы улыбаться и поддакивать всем без разбора. Кого-то злым, а вся его «злость» – всего лишь в умении четко и беспристрастно выражать свои мысли. Если человек не понятен – приговор один – странный! И – поди, избавься от ярлыка! Не получится! Людям легче, когда ярлык на ближнем есть. Не надо голову ломать, все по ценностному реестру оформлено!

Однако был среди моих давних знакомых человек, который свой ярлык оправдывал идеально. Он жил по соседству с одной из моих подруг и часто заходил на ого-

нек, когда мы устраивали посиделки. Казалось, от Бога он обладал только одним талантом, но зато огромным и редким – умением слушать. Бывало, придет, потопчется в передней – крепенький, аккуратный старичок – улыбнется смущенно и приветливо всем и пройдет бочком, словно извиняясь, в комнату. Непременно выберет себе там уголок потеснее, немного повозится, усаживаясь, и превратится в слух! Сколько его ни проси пройти в центр, сесть на видном месте, только замашет руками, уверяя, что ему и так превосходно, и чтобы не беспокоились.

И в самом облике его было что-то маленькое, уютное, сказочное. Словно пряничный старичок-домовой с круглыми щечками, облитыми старческим румянцем, большими морщинистыми ушами и щелочками блеклых глаз. Взгляд их, однако, был быстр и цепок.

Настоящего имени-то его никто не помнил, а может, и не знал. Называли изредка по отчеству – Каримыч, а больше: «Этот, как его? – Слушатель!». Потешались над стариком беззлобно: над его привычкой притопывать старомодными войлочными ботами, над манерой слушать, напряженно подавшись корпусом вперед и приложив к правому уху руку, над неизменным мохеровым кашне, которым он обматывал шею даже в начале лета. Потешались над всем отживающим и деликатно уходящим в небытие. Но при этом скучали, если старика долго не было, как скучают по привычной мебели, вдруг вынесенной из комнаты, и после которой на полу остаются сиротливые светлые пятна.

В разговорах он никогда не участвовал. Но сказанное другими, любые беседы, от политики до спорта и кулинарии, будто вбирал в себя, расцветал от чужих слов, речей, будто отогревался душой лучше, чем телом от рюмки терновой наливки или от стакана чая. Казалось, что вот-вот встанет, глухо притопнет, расплывется в пряничной улыбке и проворкует: «Хорошо-то как! Тепло! Душевно!»

Но он этих слов не говорил, и лишь тихо благодарил хозяев за прекрасно проведенный вечер.

– Плохая вещь – одиночество, – как-то заметила одна из гостей, глядя ему вслед. Он бодро шагал, по старчески выгнув плечи, и с балкона 6-го этажа напоминал уютный колобок на ножках. – Ему бы сейчас дома сидеть, с внуками возиться, а он таскается по соседям-знакомым. Никого нет у него? – повернулась она к хозяйке дома.

– Отчего же? Вдовец, две дочери и трое внуков. Обе недалеко живут. Звали к себе, да он отказывается, привык к дому. Говорит, всю жизнь в этом квартале прожил. Гостит у дочерей, они к нему приезжают, но навсегда перебираться не хочет. Все двор озеленить мечтает. Старый человек, времени много, вот и фантазирует. С нашими дворовыми детьми-дикарями только двор и озеленять! Но рукастый старичок, все в своем доме сам сделал, по своему вкусу.

– Ну и дурак, прости Господи! Окочурится, и не заметит, как! Разве можно в таком возрасте жить без присмотра? Какой бы ни был крепкий, а все равно риск. Сколько комнат у него?

– Одна, а что?

– Ну, потом дочери, наверно, продадут и поделят между собой деньги. Дом каменный, потолки высокие. Это хорошо. Продадут – не прогадают.

Стало зябко. Зима на юге больше походит на промозглую осень. Свинцовое небо взбухло дождем. Сиротливо дрожали голые ветки ясеней, видно, и им было холодно. И весь двор типовой городской многоэтажки был серым и бесприютным.

Мне захотелось догнать старичка. Ясно представилось, как он входит в свой маленький, чистый дом. Отчего-то думалось, что у такого пряничного человека и жилище должно быть кукольным, словно облитым патокой, с непременно полотенцами, вышитыми петухами, тряпичной бабой-грелкой на чайнике и постелью с подзором и горкой подушек. Ни дать, ни взять – домовенок Кузя за самоваром.

В комнате уже вовсю щебетали, обсуждали чью-то свадьбу. Я заторопилась.

– Ты что? – встревожилась подруга. – Все хорошо?

– Да, завтра с утра на работу, а я еще не все по дому сделала. До встречи. Слушай, а познакомь меня с ним покороче, – осенило меня. – А то все так – здравствуй-до свидания.

– Без проблем, – беспечно отозвалась она. – Приходи в субботу – посидим просто.

– Чай, безешки, белое вино? – улыбнулась я.

– Кофе, коньяк, лимон! Устраивает?! До субботы!

Клубочек распутывался медленно. В субботу состоялось близкое знакомство с Каримычем, я была представлена ему, узнала, что он биолог по профессии и сейчас на пенсии, и что у него два внука и внучка, что он их очень любит, но переезжать к дочерям не хочет, чтобы не стеснять никого. Однако в разговоры он вступал неохотно, предпочитая слушать и благожелательно кивать говорящему. Со стороны могло показаться – китайский болванчик непрерывно качает головой. И все же в блеклых зеленоватых глазах его нет-нет, да и мелькало нечто, от чего становилось не по себе. Будто на сердце лежала мягкая кошачья лапа и время от времени вонзала в него когти. На всякий случай, чтобы сердце не забывало об их существовании.

– Иди сюда! – шепотом позвала меня подруга на кухню. – Я тут налила Каримычу немного зеленого борща в кастрюлю. И еще положила немного пирожков. Он любит мою стряпню. Помоги ему донести кастрюлю до дому. Авось, и разговорится.

Так и поступили. Пряничный старичок долго и смущенно благодарил, отнекивался, потом изысканно кланялся. Закончилось тем, что мы наконец-то двинулись в путь. Я несла кастрюлю с борщом, а он семенил впереди, поминутно оглядываясь.

Мы поднялись на 4-й этаж, Каримыч отпер дверь угловой квартиры, и я оказалась в царстве домовенка Кузи. Все было точно таким, как я себе и представляла, разве что кружевного подзора у кровати не было. Но на всем остальном: круглом столике у окна, часах с кукушкой, маленьких геранях в маленьких же горшках и развешанной на стене коллекции тарелок гжельской росписи – лежала печать чего-то сказочного, невсамделишного и ... бабьего. Казалось, что Каримыч сейчас всплеснет маленькими ручками и что-то скажет высоким женским голосом.

Но он молчал, только потирал озябшие ладошки и глядел на меня благодарно и цепко.

– Нравится? – кивнул он на тарелки. – От жены осталось. Из каждой поездки их привозила. В театре служила, – последняя фраза была произнесена с благоговением.

На стене висела фотография молодой женщины в синей овальной рамке. Красивой ее назвать было нельзя, но что-то притягательно-властное сквозило в развороте маленьких плеч и упрямо вздернутом подбородке. Две маленькие фотографии дочерей с внуками стояли за стеклом в шкафу. Собственных фотографий Каримыча не было.

Меня поразило то, что все в доме было двух цветов – синего и белого. Синее

покрывало на кровати, белые занавески, белые стены, синий шкаф и синие табуретки. Зеркало в сине-белой раме. Даже герани на синем подоконнике были белыми, а лакированный пол – почти белым.

– Как у вас удивительно, – не удержалась я.

– Красиво? – не без удовольствия произнес он. – Сам все делал. Люблю эти цвета. В них воздух, чистота, свежесть. Садитесь, – он придвинул мне синюю табуретку.

У меня не хватило решимости отказаться. Пряничный старичок смотрел на меня умоляюще и в то же время властно. Я присела. Словно по волшебству появился маленький поднос с фарфоровым чайником, сахарницей и чашками. Все было расписано под гжель, и чайник накрыт сине-белым полотенцем. Я словно попала в зимнюю сказку. Пестрый, не всегда понятный и не очень добрый внешний мир остался где-то далеко.

– Чистоты почти не осталось в нашей жизни, – вдруг тихо сказал Каримыч и сгорбился. – Чистоты и красоты. В окно выглянуть – душа болит. Все серое, мрачное, скамейки поломанные, каждый цементные дорожки норовит сделать, чтобы машину свою драгоценную поставить. Хотел сад разбить во дворе, скамейки новые поставить, цветы в клумбах по кругу насадить, да так, чтобы они сменяли друг друга – одни отцветали, а другие распускались. И все больше синих и белых, от них светлее, и сердцу легче дышится. И детишкам гулять было бы приятнее, чем в таком, – он махнул рукой в сторону темного, голого двора.

– Говорил с соседями, хотел их привлечь к этому делу, один бы я все это не осилил. Так они меня на смех подняли, подумали – умом тронулся. Потом стали возмущаться, мол, никому это не нужно, нам для машин места не останется, и вообще мы во дворе не сидим, а если нужна прогулка, так лучше в парк пойти. Никому двор-сад оказался не нужен, а у меня даже чертеж остался, как бы это все было. Хотите, покажу?

Каримыч достал из шкафа рулон ватмана и развернул его.

– Вот, смотрите, – указал он на большое, расчерченное пространство в центре. – Это наш пустырь во дворе. В центре я хотел разбить небольшой цветник-радугу, так, чтобы по кругу цветы сменяли друг друга от красных до фиолетовых. Представляете, какая красота?! А по краям – дорожки из плитки и квадратные рабатки из синих и белых цветов в шахматном порядке, и хотя бы две скамейки! – Он воодушевлялся, и глаза его стали поблескивать. – И качели можно было бы поставить. А что машины, так ведь для машин стоянки есть. Ведь можно там их ставить, а? – Каримыч просительно заглядывал мне в лицо, будто я могла решить проблему стоянки машин и вообще всего остального.

– А это что? – я увела разговор в другую сторону и указала на четыре фигуры в виде веера.

– Лунный сад!!! – Каримыч засмеялся и даже привизгнул от удовольствия. – В хорошем саду цветы никогда не должны закрываться. На этих клумбах-веерах были бы рассажены растения, которые цветут только вечером и ночью. И непременно белые или серебристо-зеленоватые, чтобы мерцали в лунном свете.

– Да разве есть такие?!

– Есть! – победоносно и тоненько выкрикнул Каримыч. – Сколько угодно! И недорогие. Да я бы сам нашел семена! Душистый белый табак, лунная ипомея, белый мирабилис, цинерария – они расцветают только вечером и ночью. И был бы это не

сад, а сказка, не двор, а вертоград души! Знаете, что это такое?

Слово было мне известно, но у старика были такие сияющие детские глаза, что я решила дать ему возможность насладиться успехом.

– Так раньше называли сады и виноградники. Прекрасно возделанные, усыпанные плодами. В них душа радовалась, глаз отдыхал, здоровья бы прибавлялось. Эх... Не захотели люди...

– Так у многих на дачах такая же красота, как вы говорите, – я не знала, что сказать в утешение, все слова казались нелепыми и жалкими.

– Дачи? – Каримыч посмотрел на меня так, словно видел впервые. – Да, конечно. У каждого за закрытыми воротами. А так двор был бы как игрушка, загляденье...

Он умолк и постукивал по чашке с гжельской росписью. Узор на ней казался совсем темным. Лист ватмана валялся под столом.

– Я пойду, поздно уже. Спасибо вам.

– Вам спасибо, – бесцветно отозвался Каримыч, и я поняла, что чудесный вертоград закрылся для меня.

Весь вечер мои мысли возвращались ко двору-саду. Он даже приснился мне ночью. По дорожкам, вымощенным плиткой, бегали дети, матери сидели на скамейках возле длинных работок с белыми и синими гиацинтами. В центре была разбита огромная клумба-радуга, где чередовались бордовые стелющиеся розы, оранжевая календула, желтые фиалки, зеленая звездочка, голубые анемоны, синие гелиотропы и фиолетовые вербены. И всем было радостно, потому что не может быть плохо среди такого чуда. А когда на землю падал последний солнечный луч, то одни за другими начинали мерцать цветы лунного сада, чтобы и ночью красота не покидала людей.

– Ну, как? – поинтересовалась подруга через несколько дней. – Разговорились? Видела его комнату?

– Да, видела. А кстати, почему соседи отказались помогать ему со двором?

– Шутишь, что ли? У него фантазии завиральные, это сколько денег надо, сил, а еще рабочих нанимать, в земле копать. Да еще неизвестно, приживутся ли его насаждения. Я лично с лопатой во двор не собираюсь. И муж мой тоже. У каждого свои дела. И никому это не нужно. Нудился-нудился, да, слава Богу, отстал. А что, он и тебе рассказал про двор-сад?

– Так, в общих чертах.

– Он всем рассказывает поначалу, не обращай внимания. Если не реагировать, то отстает сам. Одинокий старик, что с него возьмешь... Их хлебом не корми – дай с идеями поноситься...

Мы заговорили о другом и вскоре попрощались. Я отчетливо поняла, что буду приходить в ее уютный дом как можно реже. Что-то надломилось во мне. Так бывает, когда некого винить, и все же становилось мучительно жаль всего отживающего и деликатно уходящего в небытие.

К счастью, жизнь завертелась с утроенной силой. Времени даже на звонки не оставалось, не то что на чинные походы в гости.

Встретились мы с подругой почти через год.

– Бессовестная, – накинулась она на меня. – Где пропадала? Приходи в воскресенье непременно! Столько новостей! Все расскажу! Мы, кстати, обои обновили, оценишь! Ах, да, помнишь Каримыча, старика – соседа моего. Перебрался он к одной из дочерей, слава Богу. А квартиру его дочь сдает. Ну и правильно! И он под при-

смотрим, и квартира не пустует, и мозг своим садом-двором больше никому выносить не будет. В общем, я жду. Придешь?.. Что молчишь? Придешь?

– Постараюсь, – выдавила я.

– До встречи. Жду! – отрапортовала она и повесила трубку.

Я выглянула в окно. Свинцовое небо взбухло дождем. Сиротливо дрожали голые ветки деревьев, отчаянно каркали вороны – видно, и им было холодно. И весь двор моей типовой городской многоэтажки был сырým и бесприютным. Было грустно, будто на мне лежала вина за что-то. Странная вина, непонятная. Неизбывная...

Сяма. История одной жизни

(из цикла «Друзья мои»)

*Зима установилась в марте
С морозами, с кипеньем вьюг,
В злорадном, яростном азарте
Бьет ветер с севера на юг.*

*Ни признака весны, и сердце
Достигнет роковой черты
Во власти гибельных инерций
Бесчувствия и немоты.*

*Кто речь вернет глухонемому?
Слепому – кто покажет свет?
И как найти дорогу к дому,
Которого на свете нет?*

Мария Петровых

Часть 1

Ее имя в переводе означало «небосвод». Она была черна, как головешка, и худа, как щепка. Контраст имени и облика сообщал ей некоторую демоническую крылатость. Так сказать, чернявый бесенок – мелкий клерк из адской канцелярии отправился с ревизией на небеса. Ведомство у него было мелкое, ну, и обязанностей немного – так, проверить, все ли в порядке в горних высях, не прохудилось ли часом какое-нибудь облачко...

Она мечтала стать актрисой. Любила кофе и синий цвет. Умела слышать музыку летнего дождя и замечать рубины в капле вишневого варенья. Воображение отталкивало ее тельце от земли и устремляло в сияющий полет. Желание стать актрисой переполняло ее, делало почти одержимой.

Родители гордились ею, радовались, что дочь хорошо учится, не болтается празднично без дела. Их немного напрягали мечты об артистической карьере, но они считали себя демократичными родителями и снисходительно относились к увлечению дочери. В глубине души были уверены, что внешние данные не позволят ей поступить в театральный, и это отрезвит ее лучше всяких запретов. Блажен, кто верует...

Она самостоятельно нашла себе учителя по декламации. Стала заниматься, делала успехи. Пискливый девичий голоск «открывался», становился глубже и одухотвореннее, в нем проскальзывали уже волнующие низкие нотки. Родители пожимали плечами, но оплачивали уроки.

Правда, педагог по декламации как-то зазвала мать к себе на разговор. Вначале хвалила, потом стала высказывать опасения.

– Что вас тревожит? – мать поправила идеально уложенные волосы и улыбнулась. – Разве она плохо учится?

– Что вы! – замахала короткими ручками педагог. – Она прекрасно учится, у меня никогда не было такой способной ученицы, но, вы понимаете, это меня как раз и напрягает...

– Не понимаю, что именно? – мать начинала терять терпение.

– Как-то слишком много всего. Какая-то фанатическая одержимость. Мне иногда делается не по себе, когда она декламирует. Актерство – это всего лишь профессия, конечно, никто не спорит, надо вкладывать душу и отдавать сердце, но так, чтобы потом человек мог вернуться к себе настоящему. А ее будто нет, она растворяется в чувствах персонажа.

– Насколько я знаю, любое дело требует полной отдачи. Честно говоря, я в первый раз вижу учителя, который недоволен тем, что ученик хорошо учится. – Мать улыбнулась. – Я знаю своего ребенка, поверьте, это все баловство.

– Не думаю. Нервная система у нее расшатана. На днях я рассказывала ей, как создавался спектакль «Принцесса Турандот». Ничего примечательного, просто обычный разговор об истории театра. Пришелся к слову. Так когда я ей рассказала о том, что в голодной Москве 20-х годов была создана такая яркая сказка, она заплакала. И такие слезы почти на каждом стихотворении. Поверьте моему чутью – отвезите ее куда-нибудь отдохнуть перед экзаменами. А еще лучше пусть она поступает на следующий год.

– Непременно поедем. Но пусть попытается поступить в этот год. Я думаю, вы сгущаете краски, дома она очень веселая и покладистая девочка. И в школе все успешно. Но, хорошо, спасибо за разговор, мы подумаем с отцом. – Мать направилась к двери, оставляя после себя тонкий и холодный аромат духов.

Конечно, ничего они не подумали. И Сяма поступила в театральный. Сдала экзамены с блеском. И закружилось, очаровало, понеслось!!! Она с упоением ушла в учебу, педагоги прочили ей большое будущее. Начинался вальс ее жизни – томительный, будоражащий, страстный.

– С-с-суб-лима-ция! – отчеканивала педагог по сценическому мастерству, про-рубая воздух сухим кулачком. – Сублимация! Непременное качество большого актера! Умейте перенести личные переживания, чувства, ассоциации в театральную игру. Перебросьте свою энергию образу. Но делайте это с чувством меры, лепите образ и стойте как бы чуть-чуть в стороне. Не смешивайте образ с собой – это вульгарно! Когда вы играете козла в сказке, сообщайте ему свою энергию, но не становитесь сами козлом!

Сяма не могла оставаться чуть-чуть в стороне. Слишком кипящим, бьющим через край был темперамент, слишком пламенной одержимость.

Худенькая, маленькая, с горящими глазами, она боготворила Эдит Пиаф, мечтала поставить о ней миниспектакль, и сыграть главную роль. И, конечно же, исполнить под занавес знаменитое «Нет, я ни о чем не жалею».

Но артист – это всегда в первую очередь – удача, а потом уже талант и труд. И как это часто водится в мистории, называемой жизнью, исполнять Сяме пришлось совсем другую песню. Потому что:

*Вальс дешёвый у жизни суровой,
Оркестрик грошовый в ночном кабаре...*

– Я бы от дочери не отказалась, – как-то бросила в лицо ее родителям знакомая.

– Она нас опозорила, – мать поправила седые, но также идеально уложенные волосы. – Нам было стыдно смотреть в глаза людям. Спуталась не пойми с кем, нормальной работы нет, случайные заработки, вела разгульный образ жизни. У нас нет дочери по имени Сяма. И прошу больше в нашем присутствии о ней не вспоминать.

Отец промолчал. Он всегда молчал...

След Сямы затерялся. И может быть, никто и никогда так и не узнал о ней, если бы не случай. Или усмешка Судьбы...

Часть 2

Зима плакала. Выла жалостно, кряхтя, словно проклинала свою судьбу, не посылавшую ей ни крупинки снега. Будь она женщиной, то непременно закатила бы истерику, и была бы права! Ей бы блистать в роскошном серебристо-белом убранстве под зеленоватым небом, выводить узоры на стеклах, румянить щеки и морозить лица. Но не дано этого счастья, поскольку послана она была в южный город, где снега – редкого гостя – боялись, как огня, где вместо ослепительного морозного убранства предстояло щеголять ей в сером затрапезе асфальта. И только вороны и ветер – и возлюблен же был ветром этот город! – каркали-рыдали над ее судьбой на все лады! «Ну, не повезло тебе, зимушка, что же делать! Дай хоть мы завоем вместе с тобой, погорюем над судьбой твоей бесснежной». Что-что, а завывал ветер в этом городе отчаянно.

Марине всегда было жаль зимы. Друзья в шутку называли её «Северная ты наша». И вовсе не потому, что родилась в середине февраля и по счастливой случайности с разницей в полмесяца, начиная с 31 января, отмечали дни рождения мужа, сына и дочери. И не потому, что жару женщина переносила плохо. Просто зиму было жаль, словно старую деву, поблекшую на фоне более успешных сестер. Она и в самом деле была тенью в мягкой осени, краткой весне и огромном всеобъемлющем лете. И Марина старалась не только Новый год и дни рождения, но и каждый зимний праздник отмечать ярко, весело, будто задабривая это время года.

Был святой день для любого служащего – зарплата! Марина вышла из торгового центра с кучей пакетов! Во всех маленькие подарки – незатейливые, но в шуршащих разноцветных обертках. А еще – сверкающая сковородка-блинница и уйма продуктов. На носу была масленица. Марина помнила, как в детстве бабушкин дом с крутыми деревянными лестницами наполнялся дивными ароматами восходящего пухлячатого теста и всевозможных припёков-начинок. На душе становилось радостно. До дома оставалось не так много, и, кроме того, Марина предвкушала, как будет пря-

тать подарочки, чтобы домочадцы раньше времени их не увидели, ставить тесто на блины и пироги, и сердце ее пело.

«Стоп! – сказала она себе. – В церковь надо еще зайти. Завтра не успею».

Марина не была религиозна, не знала никаких молитв, но с Богом у нее были свои отношения. За каждое хорошее событие в жизни она непременно благодарила Его, твердо веря, что ничто – ни хорошее, ни плохое – не происходит без Его на то воли.

В церкви надо было поставить свечку за исцеление любимой подруги. Та давно жила в другом городе, ездить стало очень трудно и дорого, но связь между ними не прерывалась. Между родными сестрами порой не бывает такого крепкого душевного единения, какое было между ними. И когда подруге предстояла сложнейшая женская операция, Марина не находила себе места. Без Татуши, как ласково называли Татьяну, она своей жизни не представляла и даже боялась подумать о плохом.

Все сошло как нельзя более благополучно. Постарались ли врачи, смилостивилась ли Природа, или Марина умолила всех святых, но отступил призрак Безносой от Татуши, и сейчас Марина выдохнула с облегчением.

С тех пор 11 числа каждого месяца, в день операции подруги, она не забывала заглянуть в маленькую церквушку в четырех кварталах от ее дома. Ставила свечку неизменно у лика Богородицы Всецарицы, благодаря не только за жизнь, но и за сохранение женского естества Татуши.

Пакеты оттягивали руки. Марина мужественно прошагала все четыре квартала и свернула на тихую улочку. Там среди бесчисленных торговых ларьков пряталась церковь. Некогда небесно-голубой купол ее сейчас был выцветшим и размытым дождями.

– Можно оставить здесь сумки на несколько минут? – обратилась Марина к женщине, продававшей свечи. Вместо знакомой улыбчивой Лизы в комнатке сидела очень смуглая мужеподобная женщина. – Я ненадолго.

Женщина вздохнула, поправила платок и пробасила:

– Да, оставляйте. Вам что?

– Мне четыре свечки, – заторопилась Марина. – Спасибо. – Вдруг пальцы ее задрожали. – Сс-сяма?

Женщина взглянула исподлобья, усмехнулась.

– Что, изменилась? Еще бы... Никто не молодеет...

Марина ахнула, прижала ладонь ко рту.

Свою бывшую одноклассницу по начальной школе, тонюсенькую, порывистую девочку с необычным именем Сяма она меньше всего ожидала увидеть здесь. Вернее, считала ее давно умершей: никаких вестей о ней не было, да Марина и не вспоминала про нее. И вдруг тут, в церковном притемье, пропитанном запахом воска, – огромная, не человеческая даже, а какая-то носорожья глыба, называющая себя Сямой... Непостижимо!

Сяма неторопливо отсчитала сдачу, вложила в дрожащие руки четыре свечи и подтолкнула Марину к дверям храма.

– Иди. Все потом.

Марина как в полусне проковыляла к иконам, затеплила свечи и быстро пошла обратно. Несколько женщин неодобрительно покосились на нее, но она ничего не замечала.

Сяма стояла на прежнем месте и спокойно обслуживала посетителей. Марина

присела на табурет рядом с нею, дождалась, пока уйдут покупатели

– Как ты, что ты? Сямочка, сколько лет, сколько зим! О, Господи!

– Как все, так и я. По-разному. – Сяма пожала плечами.

– Семья, дом дети? Ты же актрисой хотела стать. Получилось? – Марина сыпала вопросами, будто боялась, что Сяма опять исчезнет в своей носорожьей оболочке.

– Ну, если бы получилось, ты бы уже обо мне услышала, – негромко рассмеялась Сяма. – Семья есть – семь собак. Маман и шесть ее щенят. Дом тоже есть – терем-теремок. – Сяма назвала улицу в центре города и Марина поняла, что речь идет об очень ветхих строениях под снос с винтовыми лестницами, двором-колодцем и общим балконом, на который выходили двери многих квартир. Окон в таких домах не было, и жилище проветривалось через входную дверь. Могучая волна жалости поднялась в ней.

– Сямочка, может, пойдём куда-нибудь, посидим? А давай ко мне, честно? Масленица скоро, день рождения дочки. Дома куча вкусностей. – Марина сыпала предложениями, придумывая на ходу, что можно сделать для Сямы.

– Нет, – подумав, ответила та. – Не обижайся, но не могу. Старый товарищ как старое платье – снял, и больше не понадобится. Да и куда я пойду? Мои псины ждут меня. Знаешь, как стоят у двери по стойке «смирно» – все семь, когда я звякаю ключами? Волнуются, когда меня долго нет, – Сяма улыбнулась и в глазах ее на минуту зажглись теплые огоньки.

Марина овладела собой. К ней вернулась прежняя уверенность и энергия. Глаза засияли!

– Что я могу для тебя сделать, Сяма? В первую очередь? Сейчас пойдём, накупим продуктов. Ты пойми, наша встреча неслучайна, это Бог нас послал навстречу друг другу почти через 40 лет. Страшно сказать – 40 лет! Я же после четвертого класса ушла в другую школу. Ой, Сяма!!!! Давай начнем с зубов, у меня есть хороший знакомый стоматолог. Ну нельзя же так, у тебя всего 8 зубов – четыре внизу и четыре наверху. Потом что-нибудь подберем тебе из одежды, потом...

– Не части! Сказала – не пойду, значит – не пойду. Не надо мне ничего. Сложилась жизнь, не хочу ничего менять. Так хорошо.

– Зачем ты так? Я же от чистого сердца.

Сяма улыбнулась краешком губ.

– Знаю. Но ты у меня даже не спросила, хочу ли этого? Не хочу, Маринка. Правда, не хочу.

– Ну хоть о себе расскажи.

– Не мастер я рассказывать.

У Марины был такой понурый вид, и яркие пакеты как-то сразу поблекли. Сяма сжалась.

– Рассказывать я не умею. А если интересно, могу дать тетрадку. Там я о себе писала, когда делать нечего было. Ты у нас журналист, кажется. Вот, может, и пригодится, используешь как материал для какой-нибудь статьи. Меня давно уже как Сяму не знают. Сяма я здесь. Сейчас я заканчиваю работу, пойдём ко мне, если не брезгуешь, дам тебе свою писанину.

Дом у Сямы действительно оказался почти аварийным, с шаткими винтовыми лестницами. Подниматься по ним с большими пакетами было трудно. Кроме того, в лестничных пролетах зловеще завывал ветер и несло кисловатым запахом подсыхающего детского белья. За дверью раздался синхронный лай.

Марина любила собак, но побаивалась такого количества. Сяма вошла первая, отогнала их от двери, накормила.

– Заходи, что стоишь? Они не тронут, только обнюхают.

Марина попала в прошлое. Из детства помнила она такие дома без окон или с крошечными окнами в потолке, очень толстыми стенами, в которых скрывались шкафы. Пахло псиной и квашеной капустой. Собаки внимательно оглядели Марину, поворчав, обнюхали ее и улеглись у дивана.

– Садись, – Сяма указала на диван. – Чай или чего покрепче будешь? – Марина покачала головой. – Понятно... Передохни немного, ты совсем запыхалась, и пойдешь.

– Как ты здесь живешь? Вверх-вниз каждый день. Я думала – упаду. Лестница такая узкая.

– Привыкла. А как люди живут? Как все, так и я. Да и под снос пойдем скоро, обещали, что в ближайшее время. Тогда и дадут жилье или деньгами можно взять. Вот, – она достала целлофановый пакет с тонкой коричневой тетрадью.

– Так она пустая почти, – удивилась Марина. – Может, продолжать будешь?

– Нет. Написала уже. Хватит. – Сяма потянулась за шваброй и открыла ею не-большое окно в потолке. – Иначе никак, росту не хватает, – пояснила она.

Сяма замолчала. В тишине было слышно только сопение собак. Восемь пар глаз – семь собачьих и одна человеческая устремились на Марину. Ей стало неудобно.

– Я пойду, Сямочка. Поздно уже. Придется такси брать. – Она сунула тетрадку в один из нарядных пакетов.

– Идем, я провожу тебя, в темноте навернуться можно.

– Нет, погоди. – Марина быстро достала из какого-то пакета коробку в пестрой обертке, протянула ее Сяме. – Это тебе. Чашка с блюдцем. Лишними в хозяйстве не будут. Возьми!

– Спасибо, – равнодушно ответила та.

Она спускалась впереди, подсвечивая Марине фонариком. На удивление легко и уверенно ступала по ветхим ступеням и казалась грациозной темной глыбой.

– С Масленицей наступающей, с днем рождения дочки, счастья ей. Всех благ тебе, – сказала она на выходе.

Марина потянулась обнять ее, но Сяма едва заметно отстранилась. «Старое платье не понадобится», – вспомнила Марина.

– Такси здесь часто проезжают. Долго ждать не придется. А, вот и оно! Ну, с Богом!

Уже в машине Марина обернулась. Сяма стояла так же неподвижно, опустив плечи...

Дома было тепло и пахло корицей и медом. Никого из домашних пока не было.

Марина закинула пакеты в кладовку, схватила кусок хлеба и принялась читать. От тетрадки пахло старым жиром, страницы были помяты, но сами записи сделаны убористым и красивым почерком, выдающим человека скуповатого, сдержанного и внимательного.

Марина насторожилась. По журналистскому опыту она знала, что люди доверяют чужим глазам дневниковые записи только в двух случаях: когда ведут их для публики – в таком случае они приглаженные и до тошноты назидательные, и когда человек доходит до последней стадии замороженности души, когда уже все безразлично. Почти все записи в тетради были размашисто перечеркнуты, кроме одной:

«Бог... Тебя принято благодарить, но, честное слово, не понимаю Твоих планов на меня. Зачем Ты вложил в меня такое сердце, если оно никому не оказалось нужным? Зачем протащил через предательство родителей, любимого человека и потерю детей? Зачем обнадеежил верой в талант, которого у меня, наверно, никогда не было, или было так много, что становилось страшно. Я не умею сублимировать чувства, я живу ими. Говорят, что самое дорогое в жизни – это любовь, но, по-моему, самое дорогое – это иллюзии. Они дороже всего обходятся. Говорят, что каждый заслуживает своей судьбы и в конце концов остается с самыми любимыми и любящими существами. Получается, что больше всего меня любят собаки. Что ж, по крайней мере, живые существа...»

Запись обрывалась, и дальше тетрадка была пустой.

Марину охватила тревога. Пустые засаленные страницы показались ей грязными окнами заброшенного дома. Она кляла себя, что не спросила у Сямы номера ее телефона. Масленица, дни рождения, благодушные праздники, тихое счастье – все вылетело из головы, все валялось из рук! Марине показалось, что перед нею выросла каменная стена. И маленький, уютный мир, пахнущий сдобой и ванилью, вдруг съезжился и с грохотом стал разбиваться об эту немую глыбу.

Ночь прошла беспокойно. Марина ворочалась, вглядывалась в темное небо, проваливалась в краткий сон, в котором тоже не находила покоя. Снилось ей каменистая дорога, по которой шла Татуша. Она улыбалась, но глаза ее были печальными, будто она за что-то укоряла Марину.

Утром Марина встала с твердым намерением зайти перед работой в церковь. Но... с утра зазвонил телефон, и начальник попросил приехать пораньше, потому что нарисовалась неожиданная делегация французских гостей, и срочно был нужен переводчик. Французский Марина знала безупречно и при таких форс-мажорах вызывали только ее. Марина провозилась с делегацией больше недели, потом срочно надо было писать статьи и отчеты. Все дни рождения и праздники решено было отложить на более свободное время.

Аврал отступил только в начале марта, когда, вопреки всем законам природы, похолодало, и асфальт за ночь покрывался толстым слоем наледи. Зима словно мстила за бесснежный февраль, и продрогшие дрозды металась по деревьям и беспокойно кричали: «За Что? За Что?»

В один из таких зябких мартовских дней Марина и вспомнила о церкви...

Знакомая Лиза сидела на месте и привычно улыбнулась.

– А напарница ваша не работает сегодня? – с разбегу выпалила Марина.

– Здравствуйтесь, – степенно ответила Лиза. – Нет ее. Она как перекасти-поле. Шальная малость. Захочет – выйдет на работу, не захочет – нет. Ну, не выгонишь ведь. Жалко. Куда она пойдет?.. Только люди добра не помнят, другая бы на ее месте...

Марина не слушала, мчалась уже к дому Сямы. Так ведь и дома-то нет! Под снос, под снос! Издали увидела Марина сиротливые покосившиеся двери и экскаватор с шар-бабой, обломки кафеля из чьей-то ванной, куски штукатурки, сломанные рамы, веники, швабры.

– Нельзя сюда! – худенький миловидный паренек-рабочий преградил ей путь.

«О, Господи! С таким лицом Ромео играть, а не на экскаваторе работать», – подумалось Марине. Вслух она спросила:

– Вы не знаете, куда переселили жильцов?

– Не знаю. Вы спросите в жилуправлении, там скажут.

Жилуправление оказалось на замке. Никто не знал ничего, ни о ком! Марина совсем уже отчаялась, когда ее окликнули.

– Кого ищете? – невероятных размеров бабка в синем велюровом халате смотрела на нее в упор.

– Тут женщина жила, ее Сяма зовут, у нее еще собаки есть, – сбивчиво заговорила Марина.

– Блажная? Да, была такая. – Марина похолодела, а бабка продолжала невозмутимо. – Весь коридор псиной провоняла, собаки ее и днем и ночью лаяли, а ей и слова не скажи – сама лаяться начинала. Но безвредная. И на руку очень чистая. Попросишь что-то купить – специально больше денег дашь, чтобы себе немного оставила – так сдачу всю до последней копеечки принесет. Гордая. Сколько раз пытались угощать вкусненьким – один кусочек возьмет, поблагодарит и все. Не знаю, куда делась. Она же никому ничего не говорила. Все с собаками своими время проводила. Блажная и есть!

– Ну как же это?! – чуть не заплакала Марина. – Вы – соседи, как это можно не спросить, куда человек идет? Может, ей идти некуда было?..

– Я не нянька! – отрезала бабка. – А если она вам близкая, так что же сами не поинтересовались? И потом – говорю вам – она гордая была, у такой лишний раз и не спросишь, и не подойдешь. Да, наверно, деньги за жилье взяла. Не думаю, что она потом здесь жить захочет.

– Почему?

– Блажная! – опять повторила бабка. – Такие на одном месте долго жить не могут. Может, и собак своих кому-то раздавала, не знаю. Да пройдемте в дом, я тут по соседству у сына пока живу, – бабка сделала неопределенный жест, то ли приглашая, то ли, наоборот, отталкивая.

– Нет, спасибо, я пойду. – Марина сделала шаг и почувствовала, что ноги ее затекли.

– Если объявится вдруг, что передать? Кто спрашивал?

– Скажите: Марина. Мы вместе в школе учились. И номер телефона моего – вот.

– Да что вы? – искренне удивилась бабка. – Вы молоденькая такая, а она... Никогда бы не подумала, что вы одногодки. Если появится – передам.

– Спасибо. – Марина медленно пошла прочь. Эскаватор с шар-бабой исправно работал – милостивый рабочий, видно, хорошо знал свое дело. В синее морозное небо взвивалась штукатурная пыль и куски разноцветных обоев.

– Ты где ходишь? – встретил ее муж. – Тебе по межгороду Татьяна уже четыре раза звонила. А я не знаю, что отвечать.

– Сейчас позвоню. Вы обедали?

– Да, уже, не дождалась тебя. Иди поешь, с лица спала совсем!

Есть расхотелось. Взяла телефон.

Милый, чуть захлебывающийся голосок Татуши Марина могла слушать часами! Подруга, нет, – родной, близкий человек!

– Ты самая лучшая, – кричала в трубку Татуша, – самая чудесная, самая добрая, самая верная, самая заботливая моя подруга! Мариночка, родная, ой, Мариночка моя! – и еще несколько минут таких же восторженных эпитетов.

Марине всегда было чуть-чуть неловко от похвал, но Татуша никогда не кри-

вила душой, и от ее слов Марина расцвела и отвечала ей тем же.

Но сегодня какая-то тоска, необъяснимая, тяжелая, грызла сердце.

«Добр-ррая, добр-ррая! – насмешливо орали дрозды за окном. – «Пр-рроззе-ввала! Пр-рроззе-ввала! Что Ж Ты Так? Что Ж Ты Так?»»

Марина говорила в трубку почти механически. В мозгу ворочалось: «Не вернется Сяма! Не вернется! Перекати-поле, где пристанище тебе?»

«Нельзя помочь человеку, если он этого сам не захочет», – вкрадчиво успокаивал здравый смысл.

«Можно было попробовать, – сверлила совесть. – Не наскоком, бережно. Можно было! И время можно было найти. Все можно, если с любовью».

– Конечно, Татушенька, конечно, целую, береги себя, конечно, увидимся!

Марина положила трубку. Прислушалась. Муж смотрел телевизор. Дочь за компьютером, сын с планшетом.

Мартовское небо было синим-синим, чистым, словно умытым, снегом ли, слезами ли... Кто знает...

«Что Ж Ты Так? – продолжали кричать дрозды. – Добр-рая, Что Ж Ты Так?..»

Кротко, безропотно

*Вей, бей, проруха-судьба,
Разбуди слов рябиновый слог,
Постучи в дверь, пораскинь снег
По лесам вех, да по полям рек.*

Крохотов жил ровно посередине жизни – ни шатко, ни валко. И все в нем было крохотное – мелкие черты лица с беспокойными ноздрями, напряженные ручки, глаза, полуприкрытые вздрагивающими веками. И интересы у него были маленькие – разузнать, в каком магазине масло дешевле, да в каком секунд-хенде выбросили приличный недорогой товар. А как же иначе? Одинокому, небогатому 50-летнему холостяку все надо знать, все уметь, чтоб и на случай простуды банка с малиной была заготовлена, и краны в старенькой однушке не протекали, да и вообще жизнь с путей не сходила бы.

Служил Крохотов почтальоном в районном отделении, к своей работе привык, но думал о ней иронично: «служил Гаврила почтальоном, Гаврила почту разносил». Судьба, словно доведя Крохотова до определенного уровня, положила свою мягкую, но властную ладонь ему на макушку, прошептав: «Дальше – низ-з-зя-я!», и Крохотов подчинился. Он вообще был покладистым, за это и ценили на службе. Бывало, отработает свой участок, вернется в отделение, а его цап-царап:

– Крохотов, мне ребенка вести к врачу, разнесешь за меня? Тут немного. Спасибо. Ты – единственный! Таких, как ты, в природе нет!

– Крохотов, голова что-то болит, и дочка с внуками должны прийти. Надо приготовить что-нибудь. Выручи, а? Крохотов, цены тебе нет! Клянусь, дай только с делами разберусь, лично тебе невесту подберу. Какой мужик пропадает! Золото!

– Крохотов, завтра возьми и мою стопку, будь другом! Родственники на дачу пригласили, неудобно отказываться. Мой участок небольшой, быстро управисься.

И Крохотов соглашался. Кротко, безропотно.

*Кто-то не волен зажечь свет,
Кто-то не в силах сказать – нет,
Радую стелется судьба-змея,
Пожирает хвост, а в глазах лед,
А в груди страх, а в душе тоска,
Больно ей, больно, да иначе нельзя,
Но только...*

Пока жива была мать, Крохотов не чувствовал себя одиноким. Совершенно непонятно, в чем выражалась их общность, оба были донельзя молчаливы, но видно, и вправду есть какие-то узы, связывающие родных по крови людей. Придя домой, Крохотов садился ужинать, и чаще всего мать подавала ему любимый суп с сыром и луком, обильно сдобренный перцем, в меру густой и очень горячий. Едва сдерживая нетерпение, он начинал есть, а мать усаживалась напротив и смотрела на него. И тонкие лучики-морщинки расходились от ее глаз к вискам. Потом они пили чай, непременно с вареньем из слив-мирабелек. Крохотов любил эти маленькие солнечные плоды с тонкой кожурой.

Жениться Крохотов не мог по причине перенесенной в детстве свинки. Но странно – рок, так нелепо и зло подшутивший над ним, будто скинул волнение, сладкое замирающее ожидание любви. «Нельзя – так нельзя», – кротко, безропотно согласился он с судьбой и даже вздохнул облегченно. Не будет всепоглощающей радости, но ведь и ревности, и нервов, и страданий тоже не будет.

«Разве нам еще кто-то нужен? Разве нам плохо?» – утешал Крохотов мать.

И она, быстро встряхивая головой, отвечала, что нет, конечно же, никто не нужен.

А потом Крохотов остался один. И сам готовил себе сырный суп по маминому рецепту, а мать смотрела на него с портрета на стене, и взгляд ее был спокойным, таким, каким никогда не был при жизни. Будто она радовалась, что покинула, наконец, эту комнату, где тиканье часов отзывалось в пульсе.

И Крохотов свыкся с мыслью, что матери нет, так же, как ранее привык к ее существованию. А затем он привык каждый день начинать с уборки. Сырость упрямо просачивалась сквозь игривые лепные завитушки на потолке, оседала зеленой плесенью в углах, брызгала чернецей на стены. Крохотов -раз-два! – разогнулся, взял влажную тряпку! – шуровал по стенам, стирал абстрактные плесенные рисунки. Но все без толку! В сырость будто вселился бес рисования. С дьявольским усердием она покрывала стены узором из зеленой, желтой, черной, серой и красноватой плесени. Крохотов вел неравный бой, и сырость медленно, но верно брала новые высоты. Запах ее витал повсюду. Иногда Крохотову казалось, что плесень вырастает в него, и ему становилось липко и неприятно.

Однажды Крохотова в очередной раз попросили разнести почту на чужом участке. Но корреспонденции было много, он не надеялся, что успеет все засветло.

На 1-й Северной улице, в угловом доме, за дверью 36-й квартиры послышались частые шаги, и детский голос произнес:

– То там?

– Вам бандероль, – буднично отозвался Крохотов. – Дома взрослые есть?

– Мама, – деловито ответили из-за двери. – Она сердитая.

– Зови! – распорядился Крохотов. Его дело маленькое: пришел-передал-расписались! А там пусть продолжают сердиться дальше.

Фиолетовая дверь осторожно отворилась. Из нее вначале показался чумазый острый нос, затем два любопытных черных глаза и, наконец, фигурка девочки лет пяти в длинном разноцветном платье. Сзади нее стояла высокая женщина с красивым, но каким-то недовольным лицом, словно у нее болел зуб. Одета она была так же, как дочь, в длинное, тоже цветастое платье.

«Цыгане, что ли?» – промелькнуло в голове у Крохотова.

Словно в подтверждение его догадки женщина резко что-то сказала девочке, и почтальону показалось, будто слова ее рассыпались горстью мелких камней.

– Вам бандероль, – повторил уже матери Крохотов. Женщина продолжала смотреть на него, не мигая.

– Это не нам, – сказала она тихо. – Это хозяйке, наверно. Мы гости.

– А хозяева где? – Крохотов посмотрел на бандероль: – Мурзаева И.К. Бандероль на ее имя.

И вдруг показалось, что от ног его поднимается странное тепло. Женщина говорила с неясным акцентом. Слова она произносила правильно, ни разу не допустив грамматической ошибки, и в то же время каждое из них было словно в капсуле незнакомой речи. Так бывает порой, когда человек хорошо владеет чужим языком, но все же обкатывает слова так, как привычно родной речи.

– Вы можете расписаться в получении? – спросил Крохотов. – Когда они придут, тогда и передадите. Или хозяева уехали надолго?

– Нет, – помотала головой женщина. – Поздно придут. Оставьте.

Смутная опаска промелькнуло в душе почтальона: «Лучше бы вернуть бандероль напарнику, пусть сам разбирается». Но почему-то сладко отяжелели веки.

«Сморило меня, никак?» – успел подумать он и почувствовал, как ноги его становятся ватными...

Очнулся он на полу в кухне. Спину уютно подпирал какой-то мешок, а цыганка сидела напротив, разложив вокруг себя голубую цветастую юбку. Девочки не было.

– Не бойся, – засмеялась она и протянула Крохотову маленький темный стакан, наполненный зеленоватой жидкостью. – Пей!

Он покорно выпил. Жидкость была пахучая, пряная на вкус и очень терпкая. Мгновенно стало горячо.

– Это зверобой и еще много чего. Не бойся – повторила она. – Плохо не будет. Меня Айна зовут. Знаю, зачем пришел.

– Я-я?! – пролепетал Крохотов.

– Молчи! – цыганка так резко повела рукой, что он отдернулся. – Смотри на меня. Слушай! Плесень уйдет! Тоска уйдет. Женщину вскоре встретишь. Хорошую. Не старую еще. Но детей не будет. Ни к чему они вам. Женись на ней. Она – соль и мед в твоём доме будет. Ей доверишься, холод уйдет. Жить будете долго. Сами себе и дети, и взрослые. И на жизнь будешь смотреть веселее. Но, смотри, не пропусти. Иди.

– Я-я, м-м, – мекал Крохотов, растерянно озираясь кругом.

– Иди! – Айна сунула ему в руки бандероль. – Вернешь напарнику. И не разрешай на себе ездить. Уважения не будет.

Она помогла ему подняться, вывела в коридор и так же резко вытолкнула за дверь.

Девочка стояла у стены и шурила глаза. Она уже не была чумазой, и волосы ее были заплетены в две тяжелые длинные косы.

– Дает? (мама) – тихо сказала она.

– Со мАНгэ тэ кирА? (что мне делать?) – почти сразу же ответила женщина и как-то сникла.

Крохотов не помнил, как он очутился дома. Будто какая-то сила перенесла его на кровать. Он не помнил ничего и, не переодеваясь, провалился в сон, прижимая к себе злосчастную бандероль весом в 433 грамма.

На следующее утро он проснулся посвежевшим. Голова была ясной, ноги не подкашивались. Лишь во рту был слабый пряный привкус, как будто долго настаивали черный перец с какими-то травами.

Первое удивление случилось в ванной. Он увидел в зеркале взъерошенную пегую голову человека в пижаме! Но он точно знал, что не переодевался.

Второе удивление подстерегало в комнате. Одежда была аккуратно сложена на стуле. Крохотов привычно потянулся за тряпкой, но, взглянув на стену, увидел, что на ней нет новых плесенных разводов. По дому плыл еле слышный запах горячего варенья из мирабели.

Крохотов вздрогнул. Бандероль! Ее не было нигде. Ни на кровати, ни под кроватью, ни на столе.

Наскоро позавтракав, он побежал на почту. Еле дождался напарника. Тот приходил не к девяти, а в начале десятого.

– Мурзаева И.К., ул. 1-я Северная, угловой дом, квартира 36 – кто это?

Напарник аж попятился, не ожидал от Крохотова такой ретивости.

– Женщина среднего возраста. А тебе зачем? Проблемы какие-то?

– Я потерял бандероль, не знаю, как получилось!

– Как потерял? Ты же ее вчера отдал! Она мне домой звонила, «спасибо» сказала, и тебя благодарила, говорила, что давно ждала ее, там книга какая-то, и ты очень быстро и аккуратно ее принес. – По глазам напарника было видно, что он ничего не понимает. – Да вот же квитанция! – парень ловко выдернул из рук Крохотова невесть откуда взявшуюся скомканную бумажку. – Вот же подпись Мурзаевой. Ты выпил, что ли, вчера, или устал?–

– Я не пил! – пробормотал Крохотов и сел за свой стол разбирать почту.

Напарник постоял полминуты возле него, затем взял ручку, зачем-то повертел ее в руках и отошел к своему месту.

Почти до конца рабочего дня его никто не тревожил. В три часа начальник отделения – тучный веселый осетин – вылез, отдуваясь из-за своего стола:

– Грохотов, – протрубил он. – Идите домой, ви устали, навэрно. Каждый ден до вечера сидите.

– Я не устал, Заур Дударович, – ответил Крохотов и чуть усмехнулся.

Толстяка-начальника за любовь к шашлыку и трубный голос все давно уже переименовали в *Шампура Ударовича*. Но никто так, как этот котоголовый круглый увалень, не мог разрядить обстановку. Подчиненные его любили.

– Идите, идите, – начальник добродушно махнул рукой. – Надо много кушит, мясо кушит, масло кушит, отдыхат, смотрите, какой ви худой!

«В самом деле, – подумал Крохотов. – Домой, что ли? Устал я, видно, вот уже и чушь всякая мерещится».

– Спасибо, Ш..., э – Заур Дударович.

– На здоровье! – начальник улыбнулся широко, весело. – До завтра!

Крохотов купил банку паштета и хлеб. Провел глазами по полкам с вареньем.

Выбор был большой, но из мирабели не было. Он сглотнул слюну и взял маленькую плитку шоколада.

Ноги сами завернули на 1-ю Северную. С колотящимся сердцем (Господи, оно никогда так не колотилось, даже когда ушла мать!) он постучал в стальную фиолетовую дверь.

– Кто там? – Дверь открыла миловидная невысокая женщина средних лет с тонкой проседью на висках. – А, это вы! Здравствуйте! Что-нибудь еще мне? Я смотрю, наш почтальон на вас участок взвалил!

Она улыбалась, но глаза ее были выжидающими.

– Нет! – Крохотов испугался своего голоса. Горло у него пересохло, и звуки вышли резкими, словно рассыпалась горсть мелких камней. – Просто зашел узнать, нет ли у вас каких-то претензий к доставке? Ну, к примеру, поздно принес, а вы ждали?

– Нет. Все хорошо, все вовремя. – Женщина смотрела на него недоуменно.

– Очень хорошо. – Крохотов помялся немного и кинул взгляд в коридор. Все такое же, как было вчера. Только не было девочки у стены. Его снова охватил страх.

– Я пойду. Всего вам доброго, – торопливо бросил он женщине.

Взгляд ее был настороженным и печальным.

*Я так хочу притаиться на твоём плече,
Рассказать слов, рассказать дум,
В карманах порыться и достать лед,
Охладить лоб, охладить лоб.*

– Всего доброго, – отозвалась она и захлопнула за ним дверь.

Крохотов быстро спустился по лестнице и с облегчением вытер лицо.

«Случится же такое, – думал он, оглядываясь на окно на третьем этаже. В нем не горел свет.

Поужинав, Крохотов ощутил приятную истому, растянулся на диване перед телевизором. На экране двадцать два дюжих молодца гоняли по зеленому полю один несчастный мяч. Мать, усмехаясь, смотрела с портрета. От стен вновь тянуло сыростью. Тихо шуршали часы, вымеряя лёт времени.

*Тикают часики – динь-дон,
Да только стоп – звон
Там, за седую горой.
Льется водица по траве век,
По тебе и по мне, да по нам с тобой.
Да только...*

Через минуту Крохотов выключил телевизор и с удовольствием нырнул в кровать. Уснул он быстро, и во сне ему снились какие-то пестрые цветы, похожие на цыганские юбки, и Крохотов бродил среди них, ел варенье из слив-мирабелок и радовался, что жизнь его продолжает идти как обычно.

В тексте использована песня Г.Сукачева «Ольге».